

**Х**орошо помню такую вот картину. Между нашим домом и морской кромкой стоит огромный сарай. Это колхозный склад. В нём хранится много всякой всячины. От висящих на сухих скрипучих поперечинах старых, подгнивших и потому подпахивающих кислотной семуужих и сельдяных неводо́в до ящиков с мясными и рыбными консервами, спрятанными здесь от завидующих людских глаз, приготовленными «на всякий промысловый случай». Пойдут женочки наши на сенокосья дальние, в сузёмы душистые, да ухоронные, с ночёвками одной, другой, а то и третьей — еды не у всех достаточно бывает западено. А тут колхоз в лице бригадира скатерть-самобранку расстилает на полянке: нате вам, дорогие работнички-колхознички, кушайте на здоровье. Вот вам от родного колхоза и хлебушек, и лучок, и чесночок, и морковочка, а тут вам и консервы мясные да рыбные, а ещё и помидоры в маринаде в стеклянной большой банке... Для народа это праздник, чего там говорить. И вот уже глаза светятся у людей, уже и песня у женочек полилась, и труд в радость идёт. Ведь о людях вспомнили, позаботились о них. Много ли надо нашему народу для малой радости...

Хаживал я в такие сузёмы в детстве и в юности. Знаю: большое это

благо — колхозная еда, эта забота о трудовом люде.

Ну так вот, стоял этот склад в конце нашего огорода, и была от его присутствия великая польза нашему отцу. Склад высоченной и широченной своей стеной, словно могучей спиной, загораживал от холодного морского ветродуя значительное пространство на огородном краю. Там создавалась «заветерь», где всегда было тихо, и туда частенько заглядывало солнышко. Отец наш поставил там две чурочки, разместил на них сверху широкий, маленько подгнивший, но вполне ещё крепенький горбыль, не пригодившийся в силу своей древности больше ни в каком деле, и страсть как любил посиживать на таком сварганенном им «диване» в затишке поодаль от вечных домашних неотвязных хлопот и от неотступного маминого присмотра. После работы, не заходя в дом, он устраивался на горбыле, опирался спиной о толстые брёвна склада и чадил свою папиросину. Плечи его, вечно прямые, «краснофлотские», делались покатыми, козырёк кепки висел вровень с бровями, из-под него тускловатое поплёскивали на мир осоловелые от работы, зелёные прищуренные глаза. Отец с полусонным, усталым видом озира́л огород, колодец, наш дом — отдыхал.

Я в такие сладкие для него минуты старался не высовывать свою

физиономию под его вроде бы расслабленный, а на самом деле зоркий взгляд.

— Пашка, — скажет миролюбиво мне отец, — а ну иди-ко ты сюды, паренёчек.

Как бы между прочим. А я — вмиг заполучу какой-нибудь «наряд вне очереди». Ну, там — сетки перебрать, дров наколоть, да наносить в баню, доски уложить в штабелёк... Мало ли чего. Ну и накрылась медным тазом моя какая-то свежая задумка.

Но в этот раз я сам подскочил к нему.

— Ну, как дела, демократическая молодёжь? — спросил меня равнодушным тоном отец. И уже открыл рот, чтобы продолжить разговор постановкой совсем не нужной для меня какой-то производственной задачи. Но я его опередил: чё, я глупенький какой, чтобы так вот по-дурацки подставляться?

— Пап, а когда ящик откроем?

У отца папироса повисает на нижней губе, рот приоткрывается и торчащая из него папиросина, давненько затухшая, вылетает и парит в направлении забора.

Всё дело было в том, что где-то с неделю тому назад отцу привезли из «Посылторга» шестисильный мотор — по прозвищу «топного». Как мне кто-то растолковал, такое название он получил в простонародье оттого, что заводка его производилась не ручным, а ножным способом. Чтобы его запустить, следовало ногой ударять по педали. Теперь эта «топного», упакованная в большом и тяжёлом деревянном ящике, стояла в нашей сараюге и выжидала своего часа.

Уже неделю как выжидала. Я столько бесполезного времени выдерживать больше не мог. Мне страсть как хотелось поглазеть на мотор, потрогать руками разные его штучки-дрючки.

Отец оторопело на меня глянул, полез за другой папиросиной, машинально выковырял её из пачки и опять задымил, закашлял.

— Ты, эт, Пашко, чего вдруг про мотор-то заговорил? Ну стоит он в амбаре и стоит, есть же он не просит.

Деваться мне было некуда, и я пошёл в атаку.

— А чего это, папа, он в амбаре-то стоит столько времени? Киснет он там... Ржавчина, наверно, уж пошла. На море бы его надо спустить, на воду. Лето же проходит...

Эх, как же долго мечтал я об этом моторе! Считаю всю зиму. Ещё по осени высмотрел я его в красивом посылторговском журнале, и отцу моему и матери все уши прожужжал, что мы, мол, и на сенокосы будем катать на моторном карбасе, и на рыбалку, и к бабушке в соседнюю деревню поедем, и к другой родне...

Все эти разговоры были внове для отца, у нас в деревне ни у кого мотора пока ещё не бывало. Стояло начало шестидесятых годов, время было бедное. Рыбаки ходили на карбасах не на моторах, а под парусами. А тут — на тебе! Мотор! Само это слово будоражило воображение.

Отец наш любил новизну во всяком деле. Они с мамой в деревне вообще слыли новаторами. И не устояли родители перед моим каждодневым нытьём насчёт мотора и сдались, и размечтались тоже.

— А что, — вторила мне мама, — я буду сидеть в карбасе королевишной, а мотор везёт, да везёт, едет, да едет по морюшку. А мы всё посиживаем. Надо же, до чего техника дошла.

Мама всплёскивала руками за всеобщим ужином и мечтала:

— Вот сядем в лодочку, да и покатаем к бабе Мане на моторчике-то. А то она пошумливает на нас: чего, мол, мы к ей редковато ездим, к бабушке.

— А мы с папой — на охоту, за утками. Их в море — пропасть к концу лета, — шумел я громче всех.

А отец наш наскребал денежки. Знамо дело — стационарный мотор для лодки — штука не из дешёвых. Всю зиму они с мамой скупердяничали. Прекратили все не особо-то важные покупки. Сёстрам моим не достались обещанные ранее обновки, мне тоже кое-что давно ожидаемое не обломилось. Но мотор важнее, все это понимали.

Заветный ящик привезли на пароходе «Карелия». Мы с мамой и с папой подошли к нему на нашем карбасе на вёслах. Деревянный ящик внушительных размеров, свисающий с лебёточной стрелы, сначала повис над нами, потом по команде боцмана «майна-майна» проследовал на дно карбаса и крепко его огрузил.

Я сразу же оседлал его, этот ящик, потом так и ехал на нём верхом до самого берега. А там — как без этого — кучка интересующейся деревенской публики и завидующие глаза мужиков...

Только потом я понял, почему ящик с мотором провалялся в амба-

ре безо всякого к нему интереса целых полторы недели: отец просто не понимал, с какого боку к нему подступиться, к этому самому мотору...

Вот и сейчас, сидя на горбыле, отец глотал табачный дым, тарасил на меня глаза и, видно, не знал, как мне ответить.

— Ты, ет, Пашко, не торопил бы меня с им, с мотором-то. Селёдку как прорвало, полны невода, везут и везут на рыбзавод.

Это была, конечно, уловка. Отцу, как начальнику рыбзавода, в самом деле, крепко сейчас доставалось. Сельди действительно много ловится, поди-ко обработай её всю, да за соли, да уложи в бочки, да отправь на рыбокомбинат... Морока... А с другой стороны — когда же это летом селёдки этой самой, да и другой рыбы не вдосталь наваливает: то сайка, то треска да навага, то пинагор, то сёмга... Передых только в шторма да зимой. А тут никакого шторма не предвидится. Вон море всё лосит да лосит в тишинке — для рыбака мечта, а не погодка.

— Не-е, папа, — я тут начал кукситься, да как бы приплакивать над такой вот глупой ситуацией, — лето пройдёт, а моторчик-то так и пролежит в амбаре без дела, а и не поедем мы на ём на нашей-то дорочке...

— Ну ты, эт, зареви ишо тут. Мужик, едри тя...

Отцу, видно, что и самому поднадоела неопределённость с «топ-ногой». В самом деле, чего мотор валется, а не по воде ходит? Давно уж надо вопрос этот решить! Он вскочил с горбыля и со страшной силой

выплюнул папиросу, будто бы она-то и создавала всю незадачу. Папироса на этот раз улетела ещё дальше, чем первая.

— Пойдём, — сказал он мне решительно, сверкнул глазами и шагнул к амбару, где стоял заветный ящик. Там отец стал возбуждённо ходить вокруг него и пыхтеть. Он всегда пыхтел, когда волновался. Потом он уселся на ящик, уставился на меня и втянул голову в плечи. Сидел и недоумённо хлопал глазами.

— Не знай, — сказал он огорашенно, — не знай, чего тут и делать, в хвост его...

Я понял: отец не имеет представления, как устанавливать мотор на карбас. И я встрял с дельной мыслью:

— Может, надо инструкцию почитать. Должно же быть написано, как и чего делать.

Лицо у папы было растерянным. Он отчаянно махнул рукой и сказал:

— Надо Костю звать, а не инструкции читать. Он и без инструкции сообразит, што да чего. Без него тут хрен чего поймёшь.

Непростое это дело — найти в деревне дядю Костю, Константина Ивановича Колесникова, колхозного электрика. Он повсюду нарасхват, потому как человек он универсальный и безотказный. У людей всякая штукавина сломаться может — от кастрюли до керогаза, от радиоприёмника до любого механизма, а он всё это может починить, залудить, запаять и смонтировать. Не говоря уже о родном электричестве. В нём он мастер непревзойдённый. Как-то на спор с закрытыми глазами обеспе-

чил электричеством дом уважаемой бабушки Домны Павловны. То есть провёл от столба провода, запустил их в дом, установил выключатели и розетки, подсоединил патроны... На глазах изумлённой публики включил рубильник, и зажётся в доме свет. И только после этого сдёрнул с глаз платок. Деревенская публика была в восторге, баба Домна всплёскивала руками:

— Убьётся ведь летричеством-то анчехрист, не приведи ты, Господи!

Но победитель с достоинством сказал прилюдно:

— С какой это стати убьёт, мы в электричестве кое-что понимаю.

Самое любопытное, что дядя Костя никогда ничему такому не учился. За плечами у него была только деревенская школа-семилетка. И были у него золотые руки и светлая голова. А в карманах — всегда отвёртка, плоскогубцы и молоток. И народ верил: с этими привычными инструментами Константин Иванович может собрать любой механизм, даже и, к примеру, самолёт.

На этот раз я дома его не нашёл. Жена его — тётя Клава, увидев меня, отвлеклась от своей стряпнины и, вытирая руки о фартук, заулыбалась мне, запошумливая:

— Нонеча, ты ж знаешь, Павлушко, анфельции-то в штормягу выкинуло — пропасть. Дак мы и насобирали, дак он и чистит ея-то на бережку, у амбара-та у нашего. Там и найдёшь. А почто он тебе здался-то, дитяtko?

С тёткой Клавой вступать в беседы — это бедовое дело, это форменное разоренье для времени. Она тебе

перескажет все деревенские новости и обо всём всё выпросит. А времечко было для меня дорого.

— Да не мне, а отцу моему потребовался зачем-то.

— А, ну ладно, ладно. Побегай с Богом. У амбара он.

С моря поддувал прохладный «всток», и дядя Костя работал в майке с наброшенной на плечи телогрейкой. Перед ним на четырёх столбиках была натянута капроновая дель, из которой мастерят рюжи. На ней лежала изрядная куча туры, ну, то есть морских водорослей — анфельции, и дядя Костя молотил её тяжёлой палкой. Одновременно другой рукой пошевеливал анфельцию, переваливал её и попутно выхватывал и выбрасывал на сторону всякий там мусор. Снизу из-под кучи на землю просыпался песок. Известное дело: анфельцию не сдашь на приёмный пункт и не получишь денежку, пока в ней водится мусор. Приёмщики это дело — страсть как соблюдают.

Лицо у Константина Ивановича было розовым, тело дышало здоровьем и крепкой силушкой, на голых руках перекачивались мышцы.

— Ну, пришёл, дак говори, — сказал он мне с серьёзным лицом.

А я и в самом деле стоял в сторонке и помалкивал: у нас в деревне не принято было встречать в дела взрослых без разрешения. Ну, теперь разрешение имеется.

— Приходитко-се, дядя Костя, к нам, мотор на карбас ставить.

Дядя Костя положил палку на туру, а сам присел на порожек амбара. Сзади его, в тёмной амбаровой

глубине висели на поперечине сетки, самолучшие в деревне семужьи браконьерские снасти Константина Ивановича, имеющие славу самых уловистых. Руки он положил на колени и поглядывал на меня с интересом.

— Во-во, слыхивал я про ету попку. Дак што, до этих пор не на воде?

— Не-а, папа опасается без тебя ставить. Думат, как бы чего не приломать.

Дядя Костя посиживал, похмыкивал, качал головой и думал сейчас, наверно, о том, что вот, едрёна корень, никто-то в большой деревне без него, без Колесникова, ничего-то в технике не соображат. Только он один... Всё на ём... Как без него деревне? А я тоже размышлял: ну вот, надо ему маленько повыкобениваться перед людьми, вот он передо мной и кобенится.

— У меня, вишь, тоже дело, Павел, не закончено. А теперь мне надо бросать его из-за вашего мотора. Мог бы и сам твой батько... Не без рук ведь, всяко.

Он сидел и кочевряжился, а я понимал, что у него уже руки чешутся покопаться с нашим мотором, он без техники не мог жить, и глаз его уже горел... А анфельция эта так ему обрыдла... Наконец дядя Костя стукнул ладонями по коленям, с притворным кряхтением, как бы даже со скрипом выпрямил поясницу, поднялся с порожка.

— Ну, надо идти, раз уж сам Григорий Павлович просит.

Он взял из ящичка с инструмен-

тами отвёртку, плоскогубцы и молоток, и мы пошли.

— Вдруг, — сказал он, — у Григория Павловича своего хорошего инструмента нету.

Папа встретил его радостно.

— Костя пришёл, — первое, что сказал он, — ну, теперь и дело пойдёт. А я уж и в лавку сбежал.

Дядя Костя будто бы и не уловил этой важной темы. Но заметил я: лицо его дрогнуло, и глаза тускло полыхнули чем-то зеленоватым.

— Ну, — сказал он возбуждённо, — показывай, Григорий Павлович, свою механизацию.

Потом они долго, целый вечер, ломали ящик, доставали мотор, распаковывали его, ходили вокруг, садились на корточки, приножились, разглядывали узлы и детали, читали вслух инструкцию и тыкали пальцами в небо... Долго крутились вокруг карбаса, общупали всю корму. Чего-то высчитывали, измеряли и искали то место в киле, где надо будет сверлить отверстие для какого-то гребного вала. И я впервые услышал замечательные, таинственные слова: угол атаки винта, картер, крепление глушителя, выхлопная труба...

Потом, разгорячённые нахлынувшей новой информацией, осознанием того, что придётся теперь заниматься интересным делом, они вторую половину вечера попивали на нашем крылечке водочку и шумно обсуждали предстоящую работу.

Завершили они это благодное занятие громким, на всю деревню

распеванием хороших песен северных военных моряков «Прощайте скалистые горы» и «Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской». Пели они эти песни задумчиво и громко ещё и потому, что оба раньше служили в Военно-морском флоте и вспоминали свою службу с великой гордостью.

Потом прибежала крайне возбуждённая тётя Клава, уставшая слушать ругань односельчан по поводу слишком звонкоголосого дуэта военных моряков, и взащей прогнала домой дорогого своего супруга. Увела его в белую ночь.

И всё же уже дома, на родном крыльце, дядя Костя предпринял попытку сольного пения из того же репертуара. Но вся деревня слышала, как попытка эта была безжалостно прервана тяжёлыми хлопками ладоней тёти Клавы по спине и, вероятно, по некоторым другим частям тела дяди Кости. После этого песня окончательно затерялась во чреве дяди Костиного дома, за его толстыми брёвнами.

А мой отец пошёл на морской берег и какое-то время ещё бродил по кромке набегающих лёгких волн. Поэтому воздух белой ночи, распластавшийся над деревней, то и дело заполняли божественные мелодии старых морских песен, льющиеся со стороны берега. И они тоже не давали деревне уснуть. Отец мой не обладал высокой музыкальностью, но зато пел громко. К сожалению, и он не допел до конца свою песнь: с берега домой его увела мама.

Основные события по установке мотора развернулись на следующий день. Отец пришёл с работы пораньше. По календарю это был выходной день, но летом, в путину, какие могут быть выходные!

А Константин Иванович вообще заявился часов в одиннадцать утра и ходил вокруг нашей матери, держась за голову, покашливая, жалобно постанывая. Видно, что дома ему опохмелиться не обломилось. У тёти Клавды не забалуешь, крепкая она женщина. Глаза его, казалось мне, были полузакрыты и смотрели в разные стороны.

— Худо мне, Георгиевна, — выговаривал он нашей матери хрипловатым баритоном. — Наверно, вот помру прямо сейчас.

Так страдал он, пока мама не принесла ему кружку браги.

Выпив её залпом, дядя Костя как бы сразу же очнулся от тяжкого недуга. Взгляд его осмыслился, сам он выпрямился, растопырил в сторону руки и, отбив шлёпанцами что-то вроде чечётки, гаркнул:

— Где этот, едри его, мотор ваш? Сейчас всё и наладим!

Он увидел меня и отдал мне приказ:

— Пошли, Пашка, мотор готовить к установке. Батько твой придёт с работы, а у нас всё уже на мази.

Мама тоже вышла нам помочь.

Перед амбарным проёмом, за которым лежал на полу мотор, мы наладили настил — положили давно снятую с петель старую, отслужившую свой век, подгнившую деревянную дверь. Потом вынесли из сарая и установили на неё сам мотор.

Я глядел на него восторженно, мне не терпелось увидеть мотор в работе.

— А давай его заведём, — предложил я дяде Косте, — может, он и не работает совсем, надо же проверить.

А тот лазил вокруг мотора на корточках и совал длиннющий свой нос во все углубления.

— Ага, вот оно что! — изумлялся он время от времени, — Крепко придумано! Ишь ты! Могут же сварганить, засранцы, когда захочут...

Потом он повернул голову ко мне и захохотал открыто и радостно:

— Да как же ты, Пашко, заведёшь-то его, ежели в ём бензину-то и нету.

Я осознал свою оплошность и загрустил. Мне так не хотелось выглядеть полным идиотом перед всезнающим дядей Костей, да вот приходится. Маловато было у меня тогда знаний о двигателях внутреннего сгорания.

Потом пришёл отец. Он тоже сел на корточки перед мотором, тоже стал хмыкать и ковырять везде пальцем. Потом оба пошли к карбасу, ходили вокруг него и тоже хмыкали. Затем они зашли в заветерь, уселись на папин горбыль и начали громко разговаривать и махать руками. В конце концов оба примолкли, а дядя Костя подытожил:

— Дело-то, Гриша, многодельно выходит. Вишь, сколько ковырянья с тем, да с тем.

Отец, видно, согласился и пригорюнился. Он жадно затягивался папиросиной и смотрел под ноги, в землю.



— И што же теперь? — спросил он нерешительно, — Не бросишь же теперь. Надо уж как-то дело дошабашивать. Любо было бы на моторчике-то поездить.

— М-да, — размышлял дядя Костя, — оно, конечно, так-то так, да техника-то не проста больно. С какого боку к ней и подойти-то...

Он поглядел на загрустившего папу и — вот же хитрован! — лукаво скривил физиономию и задал следующий вопрос:

— Хотя, конечно, можно и покумекать. У тебя, Гриша, может, найдётся чего для справления мозгов? Мозги-то — они тоже лекарства требуют...

Отец мой наконец-то сообразил, что его форменным образом разыгрывают. На лице его на секунду промелькнуло недоумение, которое тут же переросло в самую что ни есть добродушную улыбку, и он, повинувшись нахлынувшему доброму чувству, с потрохами выдал перед дядей Костей свою самую сокровенную записку.

С радостной ухмылкой отец поднялся и шагнул во чрево своего амбара. Уже секунд через десять он вышел из него с оттопыренным боковым карманом засаленного своего пиджака. Оттуда выглядывало запечатанное сургучом горлышко бесконечно-знакомой каждому деревенскому жителю, драгоценной «Московской особой».

Лицо у дяди Кости опять дрогнуло и приобрело оторопело-радостный вид.

— Так бы сразу и сказал, Гриша. А я, как пионер, ты ж знаешь, готов.

Два дня, Гриша, и мотор будет стоять на карбаске как влитой. В лучшем виде...

Они дали мне команду превратиться в советского партизана и сходить в тыл противника с целью добыть у него закуски для остро нуждающихся в ней хороших людей.

Задачу я, конечно, выполнил. Я пошнырял на кухне прямо перед глазами ничего не подозревающей мамы и вынес за пределы дома в карманах два куска хлеба и две варёные картошины.

И папа и дядя Костя остались чрезвычайно довольны результатами моей партизанской вылазки. Отец дал мне ещё одну ответственную команду:

— Ну, ты, Паша, найди себе дело како-нинабудь. А нам некогда сейчас, сам видишь.

И они остались в затишке нашего уютного амбара, расположив на старой табуретке закуски, два постоянных папиных «дежурных» стакана, сев на принесённые из поленицы чурочки. Два умиротворённых человека.

А я помчался к дорогим для меня людям — к деревенской шпане, готовившей очередной набег на колхозные гороховые поля...

Дядя Костя — невероятное дело — за два дня действительно осилил установку мотора на наш карбас. Отец, конечно же, помогал ему всячески. Был, что называется, «подносчиком патронов». Больше всего времени у них заняла работа с деревом. Из куска елового корня сма-



стерили «башмак», который установили на килевую кормовую часть, просверлили в нём отверстие для гребного вала. Внутри карбаса были установлены и прочно закреплены лаги, к ним и привинтили сам мотор. Вся конструкция получилась основательной. Константин Иванович вслух размышлял:

— Главно дело, штобы мотор не вихлялся на ходу, а то, едрёна корень, быстро себя угробит.

А потом состоялось «пусково» — проба мотора и карбаса в условиях реального плавания.

Эх, сколько же волнений мы пережили! Карбас под восторженные визги сестёр столкнули на воду. Расселись все — кто где и с большим волнением глядели, как отец наш и дядя Костя пытались завести мотор. Как они по очереди топали ногами по педали, в сотый раз подкачивали бензин, в пятидесятый раз выкручивали, чистили и вкручивали назад свечу, ковырялись в карбюраторе и в магнето, снимали и снова надевали колпачок на свечу... Дядя Костя, разгорячённый, растрёпанный кричал:

— Всё, Гриша, теперь не заведёт-ся, бензин перекачали!

Папа пучил глаза, склонял на бок голову и сокрушённо говорил:

— Вот же, едри его, свечку, наверно, залило.

И они опять выкручивали её, чистили тряпочкой, обдували со всех сторон, подносили к глазам и изучали просвет между контактами. Потом один другому говорил с искренним сожалением:

— Ну, да ккака, на хрен, заводка! Вишь просвет-то маловат больно, не как в инструкции.

И они опять лезли в инструкцию, читали нужный пункт, обсуждали его, спорили... «А я тебе чего говорил!», «А ты мне не то говорил».

Это было какое-то священнодействие.

Наконец мотор ни с того ни с сего, когда они переругались вдрызг, вдруг чихнул, потом другой раз... И из выхлопной трубы выскочили клубы белого дыма. Было ясно, что мотор подготовлен к эксплуатации.

Механики наши плюхнулись на банку и возбуждённо-удивлённо поглядели друг на друга. И отец наш спросил:

— Ну, кто теперь топнет?

Константин Иванович сказал тоном категорическим, исключаящим всяческие возражения:

— Ты, Гриша, хозяин, ты и топай.

Надо было вам видеть следующую сцену. Папа встал к мотору, поглядел оторопелым взором на дядю Костю, потом на нас... И вот он топнул. Решительно и хлётко, с размахом. Окончательно топнул.

И мотор вдруг залился ровным, весёлым треском. И оглушительным. Потому, что глушителя мы ещё не купили, и звук мотора вырывался из выхлопной трубы на свободу так же, как снаряд вырывается из жерла пушки. Со страшным хлопком.

Но нам эти громко стреляющие звуки не создавали никаких неудобств. Мы плыли в карбасе, движимые невиданной в деревне мощью шестисильной «топного». Сёстры

мои, Лида и Маша, как по команде завизжали, заподпрыгивали на сиденьях. А я глядел на отца и на дядю Костю и поступал, как они — я же всё-таки мужик! А они сидели молча, только всё время таращили глаза в разные стороны.

Когда вышли маленько мористее, папа даванул рычажок газа книзу и мотор затрещал ещё более резво, карбас прибавил ход. Он рванул вперёд, то к скрывающемуся за прыгающим по волнам горизонту, то к лежащему впереди ровной, открытой линией. И бежала сбоку, с южной стороны, разбрызганная по шершавой морской поверхности разноцветная солнечная дорожка.

И сидел на кормовом коржке, развалясь, с довольным, благодушным видом Константин Иванович Колесников. Человек с золотыми руками и добрым сердцем, который и создал этот сегодняшний праздник.

А отец! Поглядели бы вы в этот момент на нашего отца! Он стоял у мотора, держал в руках палку-рулёвку, прикреплённую к рулю, и у него было лицо человека, только что проглотившего огромный кусок счастья. Светлое это счастье осветило его всего, в особенности лицо. И лицо отца сейчас издавало внутренний свет.словно внутри зажглась яркая электролампочка. И весь он выглядел оторопело-торжественным. Что-бы не выдать своё счастье, отец пыжился быть равнодушным, он глядел по сторонам и вдаль, будто выглядывая там чего-то. Но сидевшее внутри счастье распирало его, ворочалось во всём его не маленьком теле и стре-

милось показаться всему миру: «Поглядите на меня все! Видите, какая у огромное и красивое!»

Его нельзя было скрыть.

Мы все видели, что отец наш в тот момент словно бы парил в воздухе. Над своим мотором, над карбасом, над всеми нами...

Все стратегические переговоры отца с нашей мамой проходили за ужином. В тот раз, где-то в середине июня, все сидели за столом, и папа вдруг как бы ненароком и между прочим почти равнодушно бросил фразу:

— Надо бы, мать, нам с Пашком скатать до Плошихи, да поглядеть, какие там сена будут сей год. Где косить, а где нет.

Плошиха — это рыбацкая семужья тоня в восьми километрах от деревни. Там самолучшие пожни, где наша семья давно, сколько себя я помнил, косила сено для нашей коровы Голубки и для овец. Сами тамошние пожни лежали на склоне длинного, открытого, пологого угора, подножие которого упиралось в самое море. Травы, настоянные на солнце и на влажном морском воздухе, были там густые, высокие, просто-таки отменные. Никакого сравнения с лесными пожнями, где высокие деревья загораживают солнце.

— Чего на его глядеть, на сено-то, — высказала сомнение мама, — сено, как сено. Кажинный год ведь одно и то же.

— Ты не понимаешь, мать. Трава — она везде разна, где похуже, где и лучше будет. А так мы заявимся

потом, а поженка-та нами уже обследована. Подходи, да и коси. Тут сноровка нужна.

Мать ничего не поняла. Никогда её муж на такую вот разведку не ездил, да не хаживал. Она пытливо глядела на меня с отцом, но ничего необычного не заметила. Никакого подвоха.

— Да мы ишо брёвна на берегу поглядим. Может, выбросило где строевой. Баню-то надо тюкать.

Мама в таких делах разбиралась слабо. С одной стороны, вроде бы блажь, а с другой?.. Ладно, хозяин решил, что надо — значит, надо.

— Ну поезжайте тогда, — сказала она нетвёрдым голосом, — только туру поглядите там. Я потом соберусь — пособираю.

После ужина отец сразу уволок меня на крылечко. Мы сели. А он вдруг прошептал громко и явственно (так, наверно, замышляют свои тёмные дела заговорщики):

— Здесь нельзя, пошли на берег.

Там на берегу, на брёвнышке отец выдал мне суть своего плана.

— Хорошо, что мать ничего не вызнала, а то бы не отпустила.

— Куда эт?

— На Усть-Яреньгу, вот куда! Ты думаешь, порато надо нам сенá глядеть на Плошихе? Они, брат, всегда там одинаковы, поедем, да и скосим...

— А зачем, папа, на Усть-Яреньгу?

Мы сидели на полувсосанном в песок старом, рыхловатом уже бревне и смотрели, как чайки кружат над нашей ружей, над кутом, в котором ходила и поблѣскивала матовыми

бочками попавшаяся в ружоу навага. Стоял отлив, кут наполовину был на поверхности, и навага видна была чайкам.

Папа после удачного разговора с мамой размяк и подобрел. Соловьиные глаза его щурились. Он был доволен.

— Понимаешь, сынок, с детства хочу на эту реку попасть. Гарнышков там поудить... Она в наших-то местах самолучша река, ядрёна, полноводна, сёмга в ей ходит и кумжи много. Мне батько мой покойной об ей много говорил, светла ему память. Хвалил её крепко. А я и не бывал. Все мимо, да мимо. Всѣ некогда, всѣ дела каки-то. Уду не забрасывал... А хочу, сын, страхи Божьи, как хочу.

Он задрал голову и поглядел на небо, будто разглядывал там кого-то. Может быть, своего отца, погибшего на ледоколе «Георгий Седов»...

— Вот теперь подстатилось, мотор стоит... Поедем с тобой, Паша, а?

Для меня это была неслыханная радость. Сколько я уже слышал всяких заманчивых вещей об этой таинственной реке! Все ребята в деревне мечтали там побывать. Да куда там, очень она далеко — целых двадцать семь километров — шутка сказать! Пешком целый день протопаешь, а там медведи кругом да волки. Никто в деревне там и не бывал.

— А когда поедем, папа?

— Завтра и поедем. У меня уж всё собрано, только в карбас покидать.

— А на работе тебя отпустят?

Отец вольготно махнул рукой:

— Отпу-устят! Я насчёт подмены вопрос согласовал.

Он поднялся с брёвнышка, повернулся к морю и раскинул в стороны могучие руки. Поводил плечами, и там у него что-то сладостно хрустнуло.

Отец вырвался на свободу.

А я побежал на скотный двор копаться червей. Их надо было накопать много, потому что Усть-Яреньга — река серьёзная.

Плавание с отцом на дорке вдоль морского берега на огромное расстояние — в двадцать семь километров — превратилось для меня в форменное приключение. Которое запало в душу на всю жизнь.

Как познать мир малолетнему деревенскому жителю, если он всё время видит вокруг себя только свой дом, домочадцев и деревенских обитателей? Да ещё изредка выходит за деревню на ближайшую речку. В лес он всё равно старается не заходить: туда и взрослые-то опасаются лишний раз забредать — полно в наших лесах и медведя, и волка, и рыси с росомехой заодно. У речки безопаснее посидеть с удочкой, да и то, чтобы дома деревенские из виду не выпадали.

А тут, мать честная, двадцать семь километров от деревни! Это, брат ты мой, всё равно, что в Африку, допустим, махнуть. Она тоже далёконько от Лопшеньги, судя по карте, которая висит в нашем классе. Даль дальняя!

Для меня, привыкшего к незамысловатым деревенским пейзажам, открылся непознанный, фантастический мир. Масса неведомых

ранее картин, многоцветье новых красок, много того, чего я раньше не видел, и о чём даже не слышал.

Вот мы с отцом плывём вдоль берега на нашем карбасе, движимым недавно оборудованным шестисильным мотором — «топнойгой». Скрылась за длинным песчаным мысом наша деревня, разместившаяся в глубине огромной лагуны, исчезли из виду дома с высокими крышами, стоящие на самом морском берегу.

Как щенок, который инстинктивно опасается далеко уползть от материнского логова, я почувствовал тогда смутную тревогу, когда из виду скрылся и наш дом, в котором безотлучно от меня обитала наша семья. Придавало уверенности только то, что отец мой, разместившийся на кормовой банке, спокойно посиживал, покуривал свою неизменную папиросину и, сощурившись от блеска воды, поглядывал в морскую даль.

Вдруг он что-то крикнул мне — из-за громкой трескотни мотора я не расслышал чего — и показал рукой направление, куда надо было мне посмотреть. Я глянул туда и увидел, что из воды торчит чья-то круглая голова.

Она подпустила нас довольно близко, метров на тридцать, и я разглядел: это тюлень. Увидел я гладкую мокрую голову и чёрные круглые глаза морской зверюги. Мне даже показалось, что тюлень мне улыбался. «Привет, — говорил он мне, — доброго тебе пути!». А я, вместо того, чтобы также по-доброму поприветствовать его, сунул два пальца в рот и звонко, по-хулигански засвистел.

Странное дело, тюлень не испугался моего свиста. Потом уж я узнал, эти морские обитатели очень даже приветствуют свист и всякие другие музыкальные звуки. Он нырнул на глубину, только когда наша лодка проплыла мимо его наглой симпатичной физиономии: опустил голову под воду и показал нам свою большую круглую спину. И скрылся из виду.

За время всего пути до Усть-Яреньги мы видели ещё много тюленей. Все они были одинакового тёмно-серого цвета, только сильно отличались в размерах. Когда они сидели на камнях и грелись на солнышке, было видно, что некоторые из них раза в три больше других. Прямо в карбасе я подошёл к отцу и, наклонившись к его уху, попросил разъяснить причину этой разницы.

— Это порода у них разна, — прокричал мне отец сквозь моторный треск, — лахтаки — морски зайцы — крупняшши, страсть! Куды больше нерпы-то.

Когда мы близко проплывали от них, полеживающих на камнях, тюлени начинали беспокойно крутить головами и делать вид, что собираются сползть в воду. Но сразу в воду не прыгали, а глядели на нас внимательно: может, мы не приближимся очень уж близко, может, опасность как-то минует их. Но мы неизбежно проплывали совсем близко, и тюлени неохотно приподнимались на ластах, сталкивали с тёплых, нагретых камней жирные свои туловища и с шумом плюхались в воду. Головы их тут же показывались на

поверхности. Потом тюлени провожали нас недовольными взглядами, фыркали нам вослед и, наверно, ворчали друг другу: «Ездят тут всякие моторные карбасы и спать нам мешают».

Поначалу идти приходилось мористо. Мы были вынуждены огибать ставные невода, выставленные на селёдку. Скажите, дорогие мои, видали вы когда-нибудь стоящие в море сельдяные невода? А это, товарищи дорогие, огромная снасть на толстых кольях, начинающаяся почти у берега и уходящая далеко в море. И высоченная. Всяк человек, находящийся рядом, чувствует себя лилипутом перед Гулливером.

Я видал эти невода лишь с берега. Они и оттуда казались громадинами. А тут смотришь с обратной, морской стороны и видишь целый город из капроновых сетей. Мы проехали три таких ставня, и я испытал форменное восхищение.

Надо сказать и то, что ставные эти невода были к тому же очень уловисты. Сам я много раз видел, как подходили к рыбзаводу тяжёлые тонские карбасы, доверху наполненные беломорской селёдкой. И деревенские бабушки с туесками, да с ведрами, да с корзинками подходили к этим карбасам, и усталые рыбаки в оранжевых роканах погружали свои саки в рыбные навалы, доставали оттуда полные черпаки, подносили их к бабушкиным корзинкам и выливали в них струи серебряной селёдки. А бабушки поправляли белые платочки, кланялись рыбакам и говорили:

— А спасибо, дак уж спасибо тебе, дитятко. Обрадела я таперича. А котику-то моему кака радость-то. Спасибо, баженой.

И брели по берегу по своим домам, громко радостно судачили со своими такими же древними товарами.

— А Федот-то сызмальства не жадной. Эко навалил селёдошки-то мне. Таперича и на ладку, и на ушку, и котику...

Потом они растекались по деревенским проулкам, и радостно-возбуждённый гул их голосов долго ещё звенел в разных концах деревни.

Мотор наш напористо и громко трещал, наполняя упругим, ровным грохотом и прибрежное море и весь плывущий мимо берег. И попутный, поддувающий в корму ветерок подталкивал нас вперёд, помогал нам плыть и разносил перед носом карбаса лёгкие, едковато пахнущие, но необычайно вкусные бензиновые дымы.

И лежал на душе восторг от непредсказуемости нашего путешествия, от замечательных впечатлений, ждущих нас впереди. Нас, людей, вечно манит дорога, ведущая в неизвестную даль.

Примерно через километр одна от другой стояли на берегу рыбацкие избушки. С самого раннего детства я знал, что строят их напротив семужьих тоней, мест, куда сёмга приходит кормиться. Тут её и ловят. Напротив каждой избы выставлен семужий ставной невод. Кое-где, около переднего, тайникового кола покачивался карбасок, и рыбак, свесясь в воду через нос, выглядывал в

глубине тайника рыбину. Тайник — это ловушка. Если сёмга в него зашла, обратно ей ходу уже нет. Когда рыбина в тайнике забегает, рыбак «подрезает» невод и достаёт пойманную сёмгу. В этом смысл и секрет всей семужьей путины.

На берегу, возле избушек, повсеместно суетились фигуры рыбаков, «сидящих» на этих тонях. Видел я: кто-то чинит снасть, кто-то готовит и тешет колья, кто-то ремонтирует карбас. У рыбаков на тоне, на семужьем промысле, практически нет свободного времени.

За избушками вдоль всего берега, по краям леса, зелёными бесформенными кучами разбросан кустарник. За ним на бескрайнюю ширь и глубину распахивался бесконечный лес. Зелёные берёзы и рябины перемежались с тёмной зеленью ёлок. Ширились громады сосен.

У меня было острое зрение, и в одном месте я рассмотрел между двух можжевеловых бугров, стоящих возле самого леса, что-то тёмно-бурое, округлое и, как мне показалось, живое. Я опять подошёл к отцу, показал рукой на интересный предмет и сказал:

— На мишку уж больно походит.

Отцу некогда было разглядывать берег, он мимоходом глянул в том направлении, махнул рукой и гаркнул мне:

— Куст это, Пашко, куст, вот и всё. Ты не выдумывай особо тут, мечтатель. Сам не видишь?

Но меня что-то смущало.

— А почему тогда он коричневый, куст этот?

Отец сделал равнодушную физиономию и вообще отвернулся. Ему надо было соблюдать курс, а не заниматься всякой ерундой. А я его отвлекал.

Коричневый куст вдруг поднялся на четыре лапы и пошёл вдоль леса. Это была моя победа, и я радостно заорал.

— Вот тебе и куст! Медведь это, медведь!

Отец мой обернулся, тоже разглядел медведя и сбавил ход. Мы с ним вдвоём сделали из ладоней «козырьки» и разглядывали, как медведь крутил головой, как он глядел в нашу сторону, как шёл вдоль моря, потом повернул в лес и скрылся за деревьями.

Я повизгивал в карбасе, ведь я видел живого медведя в первый раз.

А отец, видно, маленько уязвлённый своей невнимательностью, одобрительно на меня посмотрел и сквозь моторный треск прокричал важные слова:

— Настырный же ты, Пашка, выглядел ошкуя. А я, вишь, проморгал. Молодец, сын, растёшь. Охотник из тебя, может, и получится.

И радостно и желанно было для меня это отцовское одобрение. Тем более радостное, что он не очень-то был охоч на похвалы.

А вообще, я любил быть рядом с отцом. От него веяло уверенностью, силой, житейской мудростью, что ли. С отцом можно было ничего не бояться.

Но без дела с ним не посидишь:

— Нам бы на бревно како не наехать. Вишь топляков скоко? — дал он

мне указание на этот раз. — Ты, Пашко, коли в носу сидишь, дак вперёд поглядывай. Мало ли чего...

Да уж, забота, так забота. На нашем Летнем берегу с одной стороны — река Северная Двина, с другой — Онега. Обе сплавные. А работяги эти, сплавщики, видно, что плоты ненадёжно крепят, постоянно они разваливаются, и каждую весну в море уходит множество брёвен. Волны в шторма выбрасывают их в наши места, оттого берега ежегодно заваливаются брёвнами, досками, брусом, горбылями... Наши мужики ходят по берегу и выбирают себе готовый стройматериал. Кому на новый дом, кому на баню, кому на сарай, а кому-то — просто на дрова. Уж много лет, благодаря сплавному разгильдяйству, вокруг деревни не вырубается лес. А зачем, когда под рукой столько готового материала.

В самом деле, пару-тройку раз разглядел я впереди торчащие из воды комли брёвен и во-время подсказал отцу, чтобы отворачивал карбас. Комли выглядывали из глубины, словно квадратные головы неведомых и страшных морских чудищ. Они будто ворчали нам вслед:

— Жалко, жалко, что не ударились мы в ваш карбас и не проломили вам борт. Ничего, мы ещё встретимся с вами на обратном пути...

А берег, освещённый солнцем, весь в нежно-жёлтой краске, всё плыл и плыл мимо. Я полулежал на «корене» — широкой носовой доске — и держался обеими руками за «коржок» — верхний выступ переднего киля и распахнутыми глаза-



ми озирал текущий навстречу простор. Повсюду, до самого горизонта вспыхивали искорки отражённого от воды света. И на всю ширь и высоту от вершины купола неба до бескрайнего водного пространства, на весь его размах, распахнулся прозрачный, светло-светло-сиреневый июньский день. Весь насыщенный красками лета, весь в мягко-синих, нежно-серых, ярко-зелёных, томно-бирюзовых тонах.

Я иногда призакрывал глаза, и казалось мне вдруг, что по берегу вровень с лодкой идёт и идёт нашим же курсом шаловливый юноша — подросток такого же, как и я возраста. С лёгкой походкой, белокурый и светлоглазый, в цветастой сатиновой курточке, в бежевых штанишках он шагает по морскому берегу и насвистывает на дудочке какую-то весёленькую мелодию, которую я где-то уже слышал. Только не помню — где. На голове у него красный колпак, на ногах мягкие сафьяновые сапожки, тоже красные. Иногда он смотрит на нашу лодку и машет нам рукой. И что-то кричит нам восторженное, юношеское. И радостный этот крик улетает далеко ввысь, под самый небесный купол.

Вот и тоня Плошиха, где на полях мы с папой вроде бы должны оценивать качество травы. Перед нами — высокий, покатый, зелёный угор, весь в крапинах белых, жёлтых и розовых цветов, упирающийся в своё основание в прибрежные камни. Здесь, в раздольных разнотравьях, растёт напитанная морской целебной влагой самая сочная и вкус-

ная трава. Деревенские коровушки и овечки любят её самозабвенно. А уж как кушает сено с этих мест наша Голубка! И как много даёт молока!

Отец мой поглядел на меня словно коварный и хитрый заговорщик: мол, как он ловко обманул всеведущую маму! И заулыбался.

А меня интересовали утки. Впереди и по сторонам их было много в этих местах. Это были большие, жирные и толстые птицы с чёрно-белой окраской. Я не знал, как они называются. Потом отец мне сказал: это гахуны — самцы северной утки — гаги. Они хитрые и ленивые, эти гахуны: сейчас начало лета и их самки сидят на яйцах, высиживают птенцов, а эти лодыри — их мужья — бездельничают на морском приволье. Интересное дело наблюдать за ними. Вот их огромная чёрно-белая стая сидит на воде. И вдруг — никого нет, все они уже шарят по дну и жадно клюют там морских звёзд, глотают моллюсков, треплют морские водоросли — гахуны всеядны. На воде только один или два «сторожа» сидят, озираются: нет ли какой-нибудь опасности?

Когда мы приближаемся слишком близко, гахуны вертят во все стороны головами — взлетать им лень, поэтому в воздух, с трудом выворачивая из воды тяжёлые тушки, поднимается лишь несколько штук. Остальные ныряют и прячутся от нас в морской глубине.

Папа сокрушённо качает головой: вот ружьё не взял! Он — охотник и не может спокойно проходить мимо дичи. Тем более, при таком её количестве.

— Пух! Пух! — отец вытягивает к гахунам правую руку, «стреляет» по ним из пальца. Потом этим же пальцем грозит уткам: ужо я вас!

Но утки заняты своим делом и не боятся моего отца. А чего им опасаться человека, у которого нет ружья? Они же понимают это — хитрые птицы.

Я гляжу на отца и переживаю за него. Я расту такой же, как и он. Во мне тоже живёт охотничья страсть.

А с уткой гагой я уже успел познакомиться довольно близко. В январе этого года я ходил по льду с зимней удочкой за коргу — подводную каменную россыпь, чтобы попробовать половить ревяков — беломорских бычков. Сразу и увидел тёмно-серую птицу, притаившуюся под ледяным выворотком — ропакком. Она сидела нахохлившись, из комка серых перьев торчал утиный нос. Когда я подошёл к ней, птица только и сделала, что слегка вытянула шею и стала трясти головой, будто говоря мне: не трогай меня, человек, не трогай!

Стоял крепкий мороз, и гага, наверно, совсем окоченела на льду и обессилела. Ни убежать от меня, ни улететь она уже не могла. Я поднял её со льда, засунул под полу ватника и отнёс домой.

Полуживая, она почему-то не умерла от голода или холода, и спустя неделю уже шагала по нашей повети, покачиваясь с боку на бок, ковыляла обычной утиной походкой и хрипло крякала на обитавших там куриц. Она прожила на повети вместе с курами весь остаток зимы.

Мы звали её Гагуськой и пытались погладить, но она так и не привыкла к людям, и, когда к ней кто-то протягивал руку, старалась тяпнуть за палец.

Потом весной, когда с земли по ручьям сползли лёд и снег, мы выпустили кур на улицу и вместе с ними Гагусю. Но она не стала гулять в куринной стае, а быстро-быстро побегала к морю, вдруг взлетела и видно было, как плюхнулась в воду. Больше мы её не видели, уплыла в море-моряшко наша Гагуська. И к нам не вернулась.

Все тогда сказали: «Ну и ладно, ну и хорошо, что уплыла. Хоть жива осталась». А мне почему-то обидно было, что утка наша даже не обернулась назад, не крякнула нам напоследок, спасибо не сказала. Всё же я спас её...

Мы, люди, сильно привыкаем и к людям, и к зверям, и к птицам, если долго живём с ними рядом. И очень бывает обидно, когда они уходят от нас, не попрощавшись.

Сейчас, глядя на гагачьих самцов, я думал: наверно, среди этих лентяев живёт-поживает и её супруг, который и не подозревает, что мимо него в эту минуту проплывает на карбасе спаситель его жёнушки. А та и забыла теперь обо мне, посиживает на своём гнезде, переворачивает клювом яйца, согревает их мягким и тёплым пухом, выщипанным из собственного живота, и защищает от вечных воришек — наглых хищников песцов.

— Павлушко, — послышался громкий отцовский голос.

Папа вдруг встал во весь свой рост и показал мне рукой на берег.

— Надо пристать, — крикнул он мне и повернул карбас к берегу.

Мы уже проехали километров двенадцать. Я стал разглядывать берег, чтобы понять, какова цель высадки, ведь на суше нет никаких построек, нет людей? Пустынное место.

Но мы всё же причалили. Отец вынес из карбаса и бросил на берег якорь. Потом повернулся лицом к берегу и зачем-то стянул с головы кепку.

— Пойдём-ко, Паша, к твоим дедушкам, — сказал он мне.

Вот так новость! Какие такие дедушки, коли берег пуст. Тем более, что рос я совсем без дедов. Слышал я, что все они сгинули в молодые годы: кто в море, кто на войне.

Мы поднялись на невысокий угорышек, и я увидел развалины старой избы. Крыша, крыльцо, верхние венцы давно прогнили, сохранились еле-еле лишь два-три нижних ряда брёвен, да и то — труха трухой. Но кое-где видны были остатки оконных проёмов. Тут раньше люди выглядывали из избы на свет Божий. Два окошка было на море и два — на уходящий вдаль берег. Мы постояли около бывшей избы, потом отец снял опять с головы кепку и сказал:

— Это тоня Сараиха, Паша. Тут лавливали сёмужку деды твои, да мои. Они привечали это место, обихаживали его и почитали. «Самолучша тоня», — говаривали.

Он обнял меня за плечи, голос его дрогнул:

— Зайдём, Паша в избу, навестим родных.

Входной двери не было, лишь скособоченные косяки, вросшие в землю. Папа согнулся в три погибели, чтобы пролезть под верхним и проник вовнутрь, в бывшие сени. Я за ним. Напротив входной двери раньше была кладовка с полками, где хранились припасы и пойманная рыба. Теперь полки давно упали и догнивали в земельной трухе.

Справа в избу вёл ещё один дверной проём — два косяка, едва стоящие вертикально, изъеденные червями и гнилью. Мы зашли в этот проём.

В самой избе, где жили рыбаки, слева от двери громоздилась старая-престарая куча камней, обожжённых и облупленных. Тут раньше стояла печка, топилась «по-чёрному» и согревала нутряным теплом озябших на море рыбаков.

Отец присел на корточки возле бокового оконного проёма и сказал мне, чтобы я сел напротив.

Мы посидели какое-то время молча. Потом папа склонил голову и закашлял. Он сидел так с опущенной головой и не поднимал её, только вдруг вытер рукавом глаза. Я понял, что он плачет.

— Мне было примерно одиннадцать, я был, наверно, как ты по годам, или чуть помладше, батько мой привёз меня сюда, на эту тоню. Пришли на паруске.

Отец говорил глухо, с расстановкой, слова давались ему тяжело. Он всё время шмыгал носом.

— Тут раньше стояла лавка, и я на ней сидел тогда и глядел в окошко. А вишь за ручьём угорышек?

Я закивал:

— Вижу, папа, конечно, вижу.

— Дак вот, на тот бугор вышел медведь. И понимаешь ты, бродит, морда у его книзу, жрёт чего-то, ягоды, наверно. Я как заору: «Медведь! Медведь!»

Отец поднял красные глаза, уставился на тот бугор:

— А батько-то мой, Павел Андреевич, подходит к окошку, садится на место, где я теперь сижу, глядит на медведя и говорит мне: «Эх, жалко, Гриша, нету у нас дробовочки с тобой, ожедёрнули бы ща сошкой этого, шкуру бы добыли матери на шубу». А сам усмехается, батько, шутить любил он...

И отец мой уронил опять голову, снова вытер рукавом глаза.

— А через год погиб он на зверобойке, на ледоколе «Георгий Седов». Не удалось мне с батьком своим нажиться. Так я без него и вырос...

Папа тряхнул головой и горько-горько сказал:

— А ведь так хотелось бы с батьком-то с родным пожить... Хороший он был у меня батько. Не довелось...

Отец ещё больше склонил голову:

— А горяшка я похлебал без него-то, не приведи кому, Господи.

Потом мы на корточках выбрались из избяных остатков, постояли рядом, и отец низко поклонился старой умирающей избе, частице своего детства. Я поклонился ей тоже.

Когда шли к карбасу, он вдруг остановил меня и, глядя мне в глаза, попросил:

— Ты когда будешь здесь, Паша, ты приходи к ним. Они ведь ждут тебя, старики наши...

После Сараихи отец на какое-то время съёжился. Сидел на задней банке, рулил и всё курил, курил...

А я увидел впереди огромные каменюки. Они медленно надвигались на нас, эти невероятно высоко выступающие из воды глыбы, широкие и тёмные. Были эти камни разбросаны вдоль берега, их гряда тянулась далеко вперёд по нашему курсу. Ещё издалека меня заинтересовали продолговатые силуэты каких-то странных существ, возвышающихся над камнями. Может, это тюлени разлеглись на солнышке? Но тюлени не могли быть столь высокими и стройными. Из крупных птиц здесь только чайки, вороны, да ещё изредка скопы — большие серые морские ястребы, падающие за рыбой с небес. Они и сейчас летали вокруг. Но все они были явно гораздо меньше сидящих на камнях силуэтов. Я крикнул отцу и показал на те странные фигуры. И по обрывкам звуков, по артикуляции его рта я понял: он кричит:

— Орлы! Это орлы!

Я никогда не видал столь громадных и важных птиц. Они восседали на камнях, как законные и подлинные хозяева этих мест. Они долго не хотели взлетать. Только, когда мы подплыли совсем уж близко, они, сначала один, потом другой, нехотя и важно растопырили крылья, и также важно начали ими махать и подниматься ввысь. Сразу мне вспомнилась любимая книга —

«Дети капитана Гранта» и рассказ о том, как орёл поднял в воздух мальчика. Глядя на размеры этих орлов, я подумал: а ведь такое могло быть в самом деле. И, когда поднявшиеся птицы стали в воздухе делать круг и пролетали над нашим карбасом, я невольно втянул голову в плечи и спрятался под «коренем» — широкой носовой доской. Так, на всякий случай. Вдруг схватит меня стервятник за шиворот, да и утащит куда-нибудь в лес. А там закроет до смерти. Мне не хотелось повторять подвиг того мальчика.

Конечно, стыдно было перед отцом. Он из кормы улыбался, качал головой и показывал на меня пальцем, как на какого-то трусишку.

Уже потом, когда опасность миновала, я клял себя за малодушие, ведь, в самом деле, чего мне было бояться? Рядом со мной отец, смелый и сильный. Да он так навернёт веслом по башке любому орлу, если он только приблизится ко мне, его сыну!

Орлы поднялись ввысь и стали кружить над морем. Я разглядывал их, и мне казалось, что слышу шелест их крыльев и грозный гортанный клёкот, щёлканье мощных клювов.

Надо сказать, что встреча с морскими орлами произвела на меня тогда невероятное впечатление, я испытал подлинный восторг. Раньше я совсем не знал, что в наших краях живут самые настоящие, громадные орлы.

Карбас наш плыл всё дальше и дальше, качался на лёгких маленьких волнах. Я глядел на берег, на морской простор, на камни, на небо

и размышлял: до чего же оно увлекательно, это наше путешествие на Усть-Яреньгу! Прямо какое-то дальнее странствие, такое же интересное и необычное, будто взятое из книжек, где описываются разные приключения. Ещё я думал: правильно мы сделали, поставив на карбас мотор и уплыв из деревни, где всё далеко не так интересно, как здесь, в морском походе.

Лёжа на носу, я вглядывался в прозрачную морскую глубину, в плывущий навстречу, проглядывающий сквозь водную толщу, освещённый солнцем подводный мир, в полосы тёмного песка с лежащими на нём жёлтыми морскими звёздами, в разноцветные камни, обвитые стеблями тёмно-коричневых водорослей. Этот огромный, фантастический, неведомый мне мир потрясал меня своей неизвестностью и необъятностью. «Вот бы стать водолазом, — думалось мне, — и разгуливать не по земле, а по тем вон камням среди рыб, тюленей и морской травы, играть с неуклюжими и смешными пинагорами, гладить белух...» Я уже читал где-то, что морские обитатели совсем не боятся водолазов, принимают их за своих собратьев

Отец опять окликнул меня. Он показывал рукой на берег. Там ковыляла по морской кромке в нашем же направлении какая-то женщина. По тому, как она тяжело переставляла ноги и плоско шлёпала по песку великоватыми, явно не по ноге, сапожками, можно было разглядеть, что это не молодуха какая-то идёт, а довольно пожилая тётушка.

Когда мы поравнялись с ней, она вдруг остановилась, развернулась к нам и принялась рьяно махать нам руками и что-то кричать.

Отцу моему, было видно по всему, не очень-то хотелось прекращать движение и приворачивать к берегу. С кислотоватой физиономией он прокричал мне сквозь моторный треск:

— Это хто такая?

Зрение у меня было получше, и я распознал эту тётушку. Это была бабка Маланья, какая-то родня нашей бабушки Агафьи.

Чтобы не орать на всю Ивановскую, я подошёл к отцу и на ухо сообщил имя тётушки.

— Какá така Маланья? — выпучил он глаза. — Какá ишшо?

— Да родня наша, Матвевна.

— А-а, Матвевна, — скривил лицо отец. Ему жутко как не хотелось делать непредвиденную остановку. Ему хотелось скорее на Усть-Яреньгу. Как и мне. Но с роднёй ему было не совладать. Иначе мама его, бабушка моя родная Агафья, так бы ему накостыляла...

У отца не было других вариантов, и он повернул к берегу. И на подходе к нему папино лицо из кислого превратилось вдруг в самое что ни есть добродушное и даже очень радостное.

— Маланья Матвевна, голубушка, куды направилась-то?

Отец ступил на берег и принялся обнимать дальнюю родню. А та, обрадованная нежданной оказией, всюю уже трещала:

— Куды-куды, дитятко? К дедку своему, к Кирилу. Совсем ошалел ока-

янной, на тоню сел опеть, на свою Люленьгу, змееватик. Самому шалюку уж восьмой десяток стукнул на медни, а он прыткой больно, дома не сидит, кокорина. Паруски побежали, а он и с имя. Погляди ты, какой добытчик вымырнул. Видали ево?

— Дак тебя довести до Люленьги, или чево? — кое как встрял отец в бабушкино трещание.

Та будто и не слышит, продолжает своё:

— С председателем спелси, выноял у него: сяду, да сяду на Люленьгу. А тому чево? Знат, бывает, что дедушко не подведёт. Вот и разрешил, окаянной. А тот и рад, дурак старой. Только мильконул на тоню. Толку нету, а сидит.

— А ты-то зачем к нему побежала, Матвевна? — с трудом опять вклинился в бабкино тарахтенье отец. — Али на свиданье торописся, дева, помиловатья решила со своим-то дедушком?

— Ошалел ты верно, дитятко. Отмиловались уж мы с дедком-то, куды, годов-то эстолько, дак уж чего таперича об етом, ох темнеченько-то-о, — запричитала, притворно завсхлипывала Маланья Матвевна. Но было видно, что не без приятности восприняла она эту разговорную тему.

— Оголодал таперича дедушко-то мой, отошшал, поди, насо всем. Сборы-то у его были впопыхах. На тоню взяли, дак обрадел весь. Вростопыру накидал кусочков в пестерёк, да и побежал баженой, а сам сидит на тони-то голой, да босой, да голоднюшкой. Я вот туто

где пособирали ему подорожничков, да пирожков спекла, да галагатку с чёрных-то ягод. Дак и несут старому греховоднику. Натё-ко, убежал ведь от меня, копыл старой. Всё Люленьга у его в башке.

— А меня-то пошто завернула, бабушка?

— Дак, путно ли дело мне, старой-то старухе, топать в эку-то даль. Верстиков пять ишо, не меньше, а куды мне... Да обратно надоть попадать опосле. Уж козой-то не могу прыгать, как ране. Корга ведь я, Гриша, нонеча стала, староватенька...

— Дак, чего, подорожнички-то до деда Кирила доставить?

— Во-во, дитятко, во-во. — Она скуксила маленькое морщинистое личико, выражая тем самым великую просьбу. — Ты уж, Гриша, забрал бы у меня пестерёк-от, да сунул бы его дедушку-то мову. Помрёт нето с голодухи-то, окаянной...

Когда мы отплыли от берега, я оглянулся. Бабка Маланья стояла на берегу и махала нам вослед белым платочком.

Мы привернули к тоне Люленьге и вручили пестерек деду Кириллу. Он заглянул в него и сокрушённо завыговаривал:

— Да у меня припасов на месяц набрано. Куды мне, Гриша, эти прибавки? Эко она беспокойно хозяйство.

Но глаза его были тёплыми, обрадованными.

— Ладно, — сказал он добродушно, — мы с напарником умнём потихоньку.

И спросил дрогнувшим голосом:

— Как там, Гриша, бабушка моя поживает? Здорова ли Матвевна, не болит ли чего у ей? В больницы лезла намеренно, дак опасуюсь я.

— Здорова она, здорова, как коза по бережку бежит.

Дед Кирилл поднял на плечо пестерёк и, полуотвернувшись от нас, как бы с необязательностью, как бы между прочим, но с очевидной признательностью сказал:

— А спасибо тебе, Григорьюшко, за бабушкины гостинцы.

И показалось мне в ту минуту, что на щеке у деда Кирилла блеснуло что-то вроде слезы. И он ушёл в избу.

А мы поехали дальше.

Вот так я впервые разглядел в человеческих отношениях уже не раз слышанное мною, но никогда ранее не виденное воочию чувство, которое люди называют любовью.

Потом я наблюдал у людей это чувство много-много раз.

Ну, где же, где река, к которой мы так стремимся? Я рассматриваю берег с его лесом, ручьевыми впадинами, вершинами угоров с торчащими на них острыми зубьями еловых верхушек. Но Усть-Яреньги пока что нет и нет. Гляжу на отца и замечаю, что он стал беспокойнее: устави́лся в берег и крутится, как непоседа на парте. Вглядывается в береговую кромку, ищет в ней разрыв — так себя обозначает впадающая в море река. Значит, подъезжаем и скоро выходить на берег.

Ну вот, наконец-то: папа уже стоит в корме на ногах и заворачивает



нос карбаса к берегу. Подъезжает, сбавив обороты мотора: мы не знаем здесь рельеф дна — могут быть и камни.

Вот она! Вот она, голубушка-речка, река Усть-Яреньга! Ударяет своей водой море как бы из какой-то ямины, выплёскивается снизу, из-за поворота, наверное, совсем неожиданно для самого моря. Это оттого, что перед впадением река образует озерцо, отстаивается в нём, как бы прячется, а потом — выпрыгивает и целуется с морем.

Мотор глохнет, карбас наш мягко тычется носом в песок морской кромки. На меня вдруг — с неба, с боков, отовсюду — резко нахлынула тишина и зазвенела в ушах тоненькой, слабенькой ноткой, словно долго и протяжно запела в воздухе тронутая ненароком струнка. Несколько секунд я сидел и с умилением слушал этот поющий звук, наслаждался тишиной после дальнего шумного похода.

Но я был маленьким помором, и в моих генах сидела неотвратимая истина: помор, находясь на промысле, не должен тратить попусту время, его руки, также как и голова, обязаны быть в непрестанной работе. Я выскочил из карбаса, достал из носа якорь-кошку и отнёс его далеко от воды, затолкал лапы якоря за всосанное в морской песок бревно. Теперь якорь не вырвет из песка никакая сила.

А отец мой выходить из карбаса не торопился. Он сидел около мотора и раскуривал очередную папиросу. Он глядел на мотор, трогал

головку цилиндра — не горячая ли, лениво озирался по сторонам, разглядывал берег и курил. Отец отдыхал. Он маленько притомился, пока вёл свой карбас, свой корабль среди камней, меж множества опасных брёвен-топляков по неизведанному доселе курсу дальнего странствия.

А мне не сиделось на месте. Я уже шнырял по берегу, ковырял ногами выброшенное морем барахлишко: полузалитые морской водой бутылки, разные там пробки, красивые дощечки, пучки ламинарии, прыгал по брёвнышкам. Наверное, я был похож на щенка, вырвавшегося из неволи и сходявшего с ума от нахлынувшей свободы.

— Ну чего, Пашко, пойдём с тобой рыбачить?

Мы забрали из лодки рюкзак, в котором находились заготовленные дома припасы для рыбалки: чайник с вложенной в него пачкой заварки, маленький топорик, лезвие которого засунуто в брезентовую рукавицу, бутылка молока, две алюминиевые кружки и сатиновый, сшитый мамой мешочек с едой. Там лежали и ждали своего часа мамины рыбники, калачи, хлеб с повидлой и головка не расколотого сахара. Наш будущий обед.

В кармане рюкзака размещались наши с папой, смотанные на деревянные мотовильца, удочки — готовые к работе: с пробками, грузилами и крючками. И две продырявленные сверху железные коробки из-под зубного порошка, полные червей.

Карбас мы выставили на рейд, и он плавал метрах в двадцати от берега. К корме была привязана тонкая

верёвка — чалка, которая на другом конце закреплена была за крепкий сук лежащей на песке толстой лесины. Так карбас никуда не денется, и в случае шторма его не разобьёт прибрежная волна. Карбас всегда можно за чалку подтянуть к берегу.

Мы поднялись на пологий бережок. Место было пустынное. За полой берега начинался кустарник, за ним — во всю гигантскую даль и ширь — простирался густой тёмный лес, как бы разорванный низким прогалом, образованным руслом реки. Повсюду, до самого горизонта, на песке валялись брёвна, брёвна, брёвна...

Отец повесил на спину рюкзак, уже собрался было шагнуть на речку, но вдруг, как будто вспомнив что-то важное, стянул рюкзак со спины, махнул рукой и сказал:

— Нет уж, товарищи мои дорогие, так дело не пойдёт. Чаю не пила — работа не мила. Чево-то меня тошшак пробил, Пашко. Надо бы нам чайку глнуть.

Он достал чайник из рюкзака и приказал:

— Давай-ко, сбегони, паренёчек к реке, да воды набери, а я огонёчек разведу.

Я глядел, как вода, пузырясь и булькая, заполняет чайник и одновременно рассматривал эту сказочную и легендарную Усть-Яреньгу, давно жившую в моих мечтах. Здесь, перед впадением в море, она разлилась в небольшое озерцо, и мне, слышавшему много чудесных о ней историй, казалось, что форель, кумжа, да и сама сёмга ходят прямо сейчас у меня под ногами, протяни

только руки, забрось только удочку...

Я стоял перед рекой с чайником в руке, глядел на плывущие мимо солнечные блики, и мне казалось: вот эти самые вспышки света — и есть блёстки солнца в огромных рыбьих глазах, мерцанье и переливы световых пятен я невольно принял за отсветы радужных пятнышек на боках лососей.

Всё! Терпёжу у меня больше не осталось. Я побежал к отцу и восторженными воплями сообщил ему, что в реке живут рыбы стада и зыркают глазами. Ещё я стал звать отца поскорее идти на рыбалку.

Папа мой степенно повесил чайник на уже висящий над костром таганок, уселся на брёвнышке и сказал мне:

— Я, Паша, с места не тронусь, ежели чаю не попью. И тебе так советую. Ишо успешь гарныша подёргать. А ежели невтерпёж, дак и хватай уду и дуй один в лес, на реку. Там тебя мишка одного-то и дожидается. Он с тобой быстренько разберётся, с одним-то.

Нет уж, такой разворот меня никак не устраивал. С медведем совсем не хотелось встречаться, а их тут, наверное, пропасть сколько. А с отцом мне ничего не страшно. Не посмеет медведь на отца моего напасть, на такого сильного.

Чаю мы попили. И, когда я ел мамина вкуснющий калач, подумал: и в самом деле, совсем не надо было так уж торопиться. Но это только — пока пил чай с калачом. Потом мне опять стало невтерпёж.

Папа пил чай, немилосердно фыркая. Глаза его светились радостью и

блаженством. Он проглатывал чай и мечтал:

— Не знай, не знай, крепка ли у тебя жилка на уде-то, Паша? Ты не думаешь того, што оборваться может, ежели крупно чего клюнет?

— Папа, ты же сам уду мне делал.

— Ну, ежели я сам, то не должна она хряпнуть. А то в этих-то местах люба рыбаина может хапнуть. Только держись, едрёна бабка.

Наконец-то отец поднял чайник, спросил у меня: «Ну, ты всё?» — и резко вылил остатки на землю. Затолкал его и кружки в рюкзак. Я решил: с привалом покончено, но папа снова сел на брёвнышко.

— Надо теперь покурить, — сказал он твёрдо.

Выдержал я и это тяжёлое испытание. Трудно было, но выдержал.

Руководство всеми дальнейшими нашими действиями отец взял на себя. Перво-наперво в молодом березняке мы вырубили удилица — длинные, тонкие и гибкие хлысты. Обтесали их, срубили сучки, зачистили кору. Потом привязали к кончикам заготовленные удочки. Стука от нетерпения зубами, бормоча нечленораздельные звуки, с удочкой наперевес, я ломанулся к реке прямо через кусты.

— Стоп, — сказал мне отец. — Ты куда это?

— Я, это, рыбачить.

— Доложи мне, рыбак, где твои черви? Без червей рыба худо клюёт.

Я хлопнул руками по карманам и ощутил себя полным дурачком.

— Нету у меня червей, — сказал я сокрушённо, — забыл я их.

Отец неторопливо, с ехидной физиономией развязал рюкзак и достал железную банку. Всё он делал неторопливо, словно маленько издевался надо мной — я ведь изнывал и страшно нервничал — так мне хотелось поскорее забросить удочку. Гораздо позже я понял, что отец действительно делал это специально. Так он воспитывал во мне рыбацкий азарт. И воспитал! Сделал из меня фаната рыбалки. Я за это благодарен своему отцу.

Он наклонился над брусничным ягодником, надёргал щепотку листьев и травы, положил их сверху червей и вручил мне готовую банку.

— Вот теперь правильно всё, — сказал он миролюбиво. — А там, где ты хотел ловить, там кусты одни, там уду не забросить. Пойдём искать путнее место.

Мы поднялись немного повыше и скоро вышли на пологий песчаный бережок. Течение было тихое и, видно что — глубокое.

— Когда гарныша ловишь, ходить надо тихо. Он всё видит и слышит, осторожный он, — зашептал мне отец, — ты погоди тут маленько, погляди, как надо.

Очень осторожно шагая, он спустился к воде, на моих глазах наживил червяка и забросил удочку. Поплавок медленно проплыл мимо него, но поклёвки не было. Папа повернул лицо ко мне и громко прошептал:

— Глубина тут больше, надо пробку поднять... — и передвинул пробку по леске. Сантиметров на пятнадцать. Забросил опять. Поплавок

снова поплыл и почти сразу ушёл вниз. Отец потянул удилище, леска натянулась, удилище изогнулось, но тут же распрямилось снова, леска с пробкой и крючком шмыгнула вверх. В воде, почти на поверхности показался жёлтый бок крупной рыбы и исчез в глубине.

— Форелина крупняшша, — прошептал жёлчно отец, — а может, и кумжа — ушла, едри её.

Он поднялся ко мне и спросил:

— Ну, всё запомнил? Один сможешь, аль нет?

Я часто-часто закивал, и отец сказал:

— Поднимусь маленько повыше, буду рядом, ежели чего надо — кричи.

Он внимательно на меня глянул и ушёл.

Я страшно нервничал. Тут столько рыбы, а я такая неумеха и занимаюсь ерундой. Сначала не мог выставить верную глубину, потом крючок цеплялся то за дно, то за кусты. Из-за этих зацепов с крючка слезала наживка, и я раза два-три наживлял снова червяка, так ни разу правильно не забросив удочку в воду. «Там отец, наверно, одну за другой форелин таскает, а я тут ерундой занимаюсь», — горестно размышлял я.

В довершение моих бедствий у меня получился зацеп. Дёргал я удочку, дёргал и, наконец, выдернул её из воды без поплавка, крючка и без грузила. Остались они на какой-то подлой коряге.

Полное бедствие! От переживаний я плюхнулся на песок, опустил низко голову и захныкал. В самом деле, рыба рядом, так долго к ней

стремился, а занимаюсь ерундой — даже удочку не могу толком забросить. И надо бы взять себя в руки — а не могу. Слёзы, поганые — сами текут.

Ну, чего тут делать? Надо идти к отцу, просить помощи, а я зарёванный. Другое дело, что не могу же я бросить рыбалку из-за этой самой удочки. Надо идти...

Отец в самом деле был недалеко. С песчаной отмели он забрасывал удочку далеко, под противоположный берег и, пока поплавок плыл, шагал вслед за ним по песку. На плече висела противогазная сумка, в ней шевелилась рыба. Был он крепко занят, но всё же отвлёкся.

— Ну, што, рыбачок хренов, чё случилось? — спросил он хриплым и ехидным шёпотом.

Я показал оборванный конец лески:

— Да вот, да у меня...

Отцу, наверно, некогда было особенно-то ехидничать. Он быстро достал из бокового кармана коробку с запасными принадлежностями и очень быстро, минуты за три, приспособил пробку, грузило и крючок — наверно, за всю жизнь ему раз сто довелось делать это в походах. Закинул готовую снасть в воду, убедился, что поплавок стоит в воде не кособоко и отдал удочку мне.

— Остынь, — тихо сказал он, — всё делай потихоньку, не трясись.

Он сказал мне то, что и надо было сказать. Я, в самом деле, пришёл в себя, взял себя в руки и больше не повторял прежних ошибок. Для меня, мальчишки, очень много значило отцовское слово.

Примерно я уже представлял, какую глубину надо было выставить и поднял поплавок на леске, как следует. В то место, где у меня возникло столько проблем, я забрасывать удочку не стал. Ну её, эту корягу...

Первым делом я снял сапоги, застучал сколько можно штаны, наживил на крючок жирнящих червей и забрёл в воду как мог далеко, туда, где торчали из глубины камни. Я прицелился и забросил удочку за эти самые камни, туда, где начинался плавный водоворот, в самую глубину, в омут, покрытый рваной пеной, скрытый от глаз нависшими деревьями.

Поплавок плавно ударился о водную поверхность, полежал маленько среди пенных лохмотьев и, словно ванька-встанька, вскочил и выпрямился, оттопырившись кверху деревянной спицей.

И вдруг сразу же исчез.

Честно говоря, я не сразу это понял, потому, что произошло всё как-то совсем уж неожиданно. Только что поплавок был, и вот — на тебе — нет его!

С бьющимся сердцем потянул я удилице вверх и понял: опять зацеп! Такая беда, напасть какая-то, опять проблема! Каждый рыбак знает: зацеп зацепу рознь. Бывает, что дёрнешь посильнее, и крючок отрывается от коряги, или сама коряга оказывается лёгкой. Я и дёрнул и потянул. Но коряга была тяжёлой, она не шевелилась. Я постоял так в воде, попроклинал новую напасть, подумал: не везёт мне на этой рыбалке, не везёт — и всё. Снова сейчас всё

оборву, и опять придётся идти к отцу с повинной головой, налаживать новую снасть.

Я стал тянуть удочку с силой. Леска натянулась, как струна, удилице вытянулось.

В этот момент произошло что-то совсем уж странное. Коряга вдруг начала передвигаться по дну и с тяжёлой, неотвратимой силой начала затаскивать меня на глубину.

То, что это большая и сильная рыба, я осознал только, когда был уже по пояс в воде. Рыба тащила меня в реку резкими, мощными толчками.

Но я не мог выпустить удилице из рук. Наверное, это было не в правилах мальчиков-поморов. Я просто заорал, что было мочи. Кричал и пробовал пятиться назад. Правда безуспешно.

На мой крик прибежал отец. Он бросился в воду, вырвал у меня удилице и стал тянуть рыбу сам. Сначала у него получилось немного подтащить её к берегу, но вдруг на наших глазах, на другом конце удочки из воды выбросилось туловище крупной серебряной рыбыны, совершило в воздухе «свечку» и так дёрнуло леску, что она со звоном лопнула, рыба ударила хвостом о воду, издав тяжёлый, гулкий шлепок, и ушла на глубину.

— Сёмжина, — глухо, как бы про себя выговорил отец, — килограмм на пять, зараза. Ушла, надо же...

Он стоял по пояс в воде, в одежде, в сапогах. Тряхнул головой и стал выбредать на берег. Я побрёл за ним. Мы уселись на край травянистого

обрывчика, нависшего над песком, и стали горевать. Жалко нам было ушедшей с крючка сёмжины.

— Вкусняшша рыбинка-та была, навариста-а, — оценил её папа.

Потом он вдруг улыбнулся как-то задорно, махнул рукой:

— А не струсил ты, Пашко, она ведь тебя чуть на глубь не утащила насовсем? Штанишки-то небось полны, али как?

Чего там говорить, смелость я не проявил в схватке с сёмгой, и губа у меня тряслась. Но и признаваться в своей слабости не хотелось.

— Да не-е, я ведь уду-то не выпустил.

— Молодец, что и не выпустил. И дальше не выпускай свою уду.

Отец повернулся ко мне и сказал проникновенно:

— Много, Паша, у тебя в жизни будет ишшо таких рыбин. Ты не робей никогда, борись, вытаскивай их на берег, вытаскивай...

Часа в три пополудни мы с отцом сидели на берегу реки. Горел и потрескивал просохшим лежалым хвостом костерок. И лёгкие искорки кружились над ним, словно маленькие белые бабочки. Закипала в чайнике речная вода, отец доставал из рюкзака пачку чая, наши припасы. Потом мы прихлёбывали из кружек наваристый, ядрёный напиток, расшелушивали скорлупу привезённых яиц, уплетали и нахваливали мамыны калачи.

Мы сидели на мягких, полурасыпавшихся кольях старой изгороди зарода, когда-то вековечно тут сто-

явшего. Здесь из века была пожня, и на нашем месте возвышались стога сена с широкими заколинами. Теперь, давно уже, никто тут не косит. Вокруг нас густыми космами росла трава, и мы сидели в окружении зарослей иван-чая, резеды, лютиков и ромашки.

Рядом, в тени широченной ели, стоял рюкзак с пойманной нами рыбой. В нём время от времени что-то тяжело ворочалось. Наверное, это была здоровущая кумжа, которую отец поймал в самом конце рыбалки. Это было на моих глазах. Папа не смог приподнять её над водой и вытащил на берег волоком.

У меня нету оснований сильно хвастаться своими результатами, но и моя доля в общем успехе тоже была. Я выудил несколько ядрёных форелин, и они лежали теперь в общем мешке. В целом мы с отцом наловили в тот день много рыбы. Было заметно, что в этом сезоне на Усть-Яренье пока что никто не рыбачил, и форель активно клевала в каждом омуте.

Сытые и подуставшие, мы разлеглись после обеда на траве. Отец сразу же захрапывал.

Я лежал лицом вверх и разглядывал, как колышутся от слабого ветра лапинья высоких ёлок, как над самыми верхушками деревьев бегут потихоньку на север белые, лёгкие облака, как клонится на вторую, дневную половину солнышко. Слушал, как шумит рядом река.

А потом на меня навалилась тёмным своим боком тяжесть сегодняшней усталости и пережитых за

день впечатлений. Эта светлая тяжесть была несоразмерна с моим детским возрастом, поэтому она быстро победила меня, и я поневоле растворился в её ласковом и нежном наплыве.

Вместе с нами был в этот день на рыбалке светлый-пресветлый и тёплый-претёплый летний юноша — месяц июнь. Пока мы спали, он похаживал вокруг нас, покачивал нахлобученным набекрень красным колпачком, шуршал своей цветастой сатиновой рубашкой, перепоясанной зелёным кушачком. Светловолосый и голубоглазый, он играл на серебряной дудочке и напевал нам какую-то очаровательную и добрую песню. Во сне я отчётливо разобрал все её слова и даже запомнил их. Но, когда проснулся, вдруг позабыл эту песенку. Помню только главный её смысл. Она про то, как прекрасно светлое лето, согревающее белый свет, продрогший от зимнего холода.

Выехали мы обратно, когда солнце уже готовилось упрятаться за чёрный лесной горизонт, изрезанный дальними вершинами деревьев. Закат лоснился на воде бледноватыми, сиренево-красными оттенками. Нестерпимо яркий солнечный диск как будто запутался в тонком серебряном облаке, словно не мог из него выбраться. Может быть, солнце и само не хотело покидать это уютное, светлое и мягкое облако. Ему было так приятно полежать в этой постельке на самом краешке прозрачного июньского дня. И отодвигало солнышко момент, когда надо было

скатываться в прохладную ночную темень и уступать место светилам ночным.

Небесный свод был просветлён отражённым от воды светом уходящего дня. На нём, на далёкой восточной стороне, слабенько поблёскивала первая звёздочка. Уже скоро на всю землю и на море упадёт с неба раздольная белая ночь и разольётся по всему неохватному пространству. Мальчишка июнь — мастер дарить людям такие ночи. Когда их с трудом можно отличить от июньских дней и когда совсем не хочется спать.

Она настигла нас примерно посередине пути, эта прозрачная ночь, и обволокла наш карбас. Море отражало и уносило ввысь глубинное фиолетовое сияние воды и, наверно, тень от нашей лодки отражалась в небесах. Туда, где, словно веснушки на лице девчонки, высыпали пятнышки робких, неярких звёздочек.

А впереди нас, прямо над нашим курсом, вместе с нами бежал домой яркий серп месяца. Он разбрасывал на нашем пути щедрые горсти драгоценных камней, которые почему-то не уходили под воду, а светились на морской поверхности яркими искрами, поблёскивали и мерцали огоньками. Эти искры и огоньки создавали яркую, разноцветную лунную дорожку, которая вела нас домой.

Дни и события ушедшего детства неизбывно живы в памяти взрослых людей. Иногда во сне или в воспоминаниях приходит ко мне тот светлый голубоглазый юноша, живший ког-



да-то в моих детских грёзах. Вижу его, следовавшего за мной на протяжении всего того ослепительно-солнечного, пресветлого дня, такого счастливого и незабываемого. Откуда он взялся, кем он был, так ясно и отчётливо представляемый мною тогда?

Быть может, так преподнёс мне себя тот тёплый денёк середины июня, когда живы были мои папа и мама, и бабушка Агафья, когда для нас росла сочная трава на цветных пожнях тони Плошиха, когда мы с отцом совершали дальние странствия на карбасе, оснащённым шестисильным мотором «топнога».

А может быть, это было само моё детство, явившееся мне в тот ясный-преясный июньский день в образе синеглазого мальчишки?

Оно ведь именно такое — синеглазое, белобрысое, в красной рубашке, перепоясанной зелёным кушачком.

Но скорее всего был он ангелом, посланцем от небесных сил, посетившим меня в тот летний день, чтобы осветить чистым божественным светом маленькую мою душу, чтобы зажечь во мне этот свет. Чтобы мои воспоминания о детстве были такими же светлыми, как сам он — ангел небесный.